



**Валентина  
АМИРГУЛОВА**

## С ВОЙНЫ

Новелла

По ночам Алексеевна долго не может заснуть. Она лежит, скорчившись под ватным одеялом, не двигается, чутко прислушиваясь к полному звукам. Ее ухо привычно ловит все шорохи: шум осторожной крысы, обгладывающей обивку дивана, шелест ракиты за окном... Если вдруг Алексеевне чудятся близкие шаги, она тут же приподнимает голову с подушки и настороженно следит за бегущими по трухлявому полу неясными полосами лунного света, который падает в дом через шевелящуюся листву ракиты. Затаив дыхание, Алексеевна пробирается на улицу и, прислонившись к раките, долго-долго слушает тишину с тонущими в ней шорохами, напряженно всматривается в темноту, будто оттуда может кто-то появиться. Но кто появится в такое время оттуда, где нет дороги? Хата Алексеевны стоит на отшибе. Соседские дома давно опустели, их разломали. Люди кто разъехались, кто перебрались в новые дома. А Алексеевна отказалась переезжать в новый дом, когда ей давало колхозное начальство.

– Нет, из этого дома Ванятка мой ушел на фронт. Похоронки на него так и не было.

– Так ведь это...

– Да, пропал вот без вести. Ан сколько потом, говорят, находилось людей. Иные, говорят, контуженные, память теряли.

В деревне считали, что Алексеевна просто свихнулась мозгами. Такое в этом возрасте бывает. Склероз там или просто шиза. Старухе ведь уже сотня лет. У кого такой век? Зажилась. Может, свою жизнь прожила, а Всевышний прибавил ей срок и за сына. Пути Господни неисповедимы. Зачем вот только живет и живет

старуха, чтоб ждать с войны призраков? Хоть бы ушла в новый дом, там хоть отопление газовое.

Но люди уже привыкли к чудачествам Алексеевны и без удивления проходят мимо сидящей на бревнышке у хатенки-развалюхи старухи с высохшими усталыми глазами, мертвенно-седой головой. Она сама уже как призрак, не всматривается в прохожих, не вслушивается в их мимолетные голоса.

Алексеевна все время бывает одна. Никуда не ходит. Не хочется ей ни о чем ни с кем разговаривать. Она и прежде все молчала. Люди ее жалели: горе как старуху уморило. Но ведь жизнь-то идет. Нельзя же ее остановить на целых столетия. А Алексеевна десятки лет сидит на бревнышке и смотрит вдаль. Помоложе была – по хозяйству управится и опять на бревнышко. А теперь это у нее постоянный сторожевой пункт. И так изо дня в день. Никуда не ходит и все время одна. И только раз в год, в один и тот же день, когда отгремят майские зарницы и распустятся поздние летние цветы, в доме Алексеевны собираются гости. Это день именин ее сына Ивана.

К гостям Алексеевна снимает свою поношенную черную юбку и темный жакет, надевает светлую, оборчатую, старинного покроя юбку и бежевую бумазейную кофту. В этом наряде она снята на фотографии вместе с улыбающимся сыном, голубоглазым богатырем. Фотография висит под стеклом над столом, вся выцветла, как и букетик стародавних, заткнутых за нее засохших полевых цветов.

Алексеевна в новом наряде становится обыкновенной деревенской старухой, в этот день ей как-то чудодейственно удается сбросить с себя ту неподъемную печаль-заботу, которая не покидала ее весь старушечий век.

В гости приходят юношеские друзья Ивана, с кем он рыбку ловил в пруду, в ночное ездил на конях, на охоту по лесу бегал.

Все они теперь вроде бы и прожили свой век. Давным-давно Алексеевна не приглашала их в гости. Приходить была их обязанность, которой они, однако, не тяготились. И никогда никто не забывал про этот день, хотя свои дни рождения они давно уже не отмечали.

Первым всегда приходил Ипат. Брел по деревне, еле-еле переставляя ноги. А в дом заходил так бодро, будто за порогом оставил полсотни лет. И Алексеевна глядела на лысого,

морщинистого Ипата, будто перед ней был прежний паренек с густым пронзительно-черным чубом.

– Хорошо, что ты, Ипат, пришел. Я седня печку раскалила, и пироги у меня удались.

Пироги в этот день всегда пеклись одни и те же – капустные, которые любил Иван. У Ипата давно уже не было зубов, и он, кроме каши, ничего не ел, но у Алексеевны пироги всегда глотал. Дети смеялись над ним, что он в этот день наряжался пугалом. Этот старомодный, изъеденный молью ритуальный пиджак они однажды спрятали. Но вернули, не выдержав слез и причитаний отца. И что с ним делалось в этот день? Был же обыкновенный дед как дед, играл с внуками, курил папиросы, даже сено все еще косил с сыновьями. А в Иванов день все дела отставлял и вот тащился на край деревни, к полоумной старухе. И там отмечали день рождения человека, который больше полувека тому сгинул бесследно. Что за блажь была такая, никто не мог понять. Разве мало в деревне погибло людей и пропало без вести? Но никто так не чудачил, как столетняя Алексеевна, которая собирала друзей Ваняты. В другое время они месяцами не виделись, каждый тянул свою житейскую ляжку. А здесь встречались, как родные. И никто не мог бы из них объяснить, почему они приходили в этот дом, для кого устраивали этот маскарад. Не иначе заразились безумием старухи. Бесшумно всегда появлялся Григорий. Он остался таким же, как был в юности, тихим и застенчивым. Осталось в его лице некое простодушно-детское выражение. Седые волосы только сильнее подчеркивали это.

Последним всегда приходил одноногий Серега. Гости, сидя на лавке, с нетерпением ждали, когда же он загремит костылями на крыльце. Был он когда-то такого же богатырского сложения, как Иван, а плечи его вразворот были еще шире. Побороть друг друга им удавалось через раз. Даже теперь одноногий старый Серега все еще казался молодцом, когда останавливался у двери, упираясь затылком в притолоку.

Его появление неизменно означало начало застолья. Нехитрая закуска – студень, картошка, пирожки и кисель – стояла на столе. Серега приносил бутылку самогонки. Разливала Алексеевна, споро и деловито. Никто не говорил никаких тостов. Молча пили, молча ели. Что за гостевание это было? Поминки не поминки, веселье не веселье, какой-то странный ритуал,

прервать который казалось каждому здесь святотатством.

Молчаливое застолье велось до тех пор, пока Алексеевна не приносила гармошку с истертыми, сжеванными временем мехами. Она лежала на комодe, накрытая рушником с вышитым петушками. Он от времени тоже пожелтел. Этим рушником вытирался Иван.

Алексеевна отдавала гармонь Сереге. Тот аккуратно, как ребенка, клал гармонь на единственное колено. Он задумывался, прежде чем начинал играть. О чем он вспоминал? То ли о тех днепровских кручах, где он оставил свою ногу, о страданиях в госпитале? То ли о далеком детстве, а может быть, об Иване, с которым они соревновались и в игре на гармошке? А может быть, он вообще обо всем давным-давно забыл и приходил сюда, повинувшись неосознанному зову далекой юности? Что-то здесь объединяло их, такое важное, что до сих пор не давало никому ни умереть, ни потеряться на земле.

Когда Серега начинал играть, на его бледном, иссохшем лице пробивался нежный, почти юношеский румянец. Играл он довоенные мелодии, начинал с вальса, а заканчивал маршем.

Алексеевна, подпершись сжатым кулачком, слушала Серегину игру так, как будто вослед ей должно свершиться что-то чудодейственное.

Никогда у нее не было такого осмысленного взгляда. Неожиданно всплывала улыбка и вдруг катились слезы.

– Сыночек, – тихо говорила она необыкновенно проникновенным голосом, – ты только вернись живой, я буду тебя ждать. А я совсем не реву. Просто тебе сегодня день рождения.

Никто не удивлялся, что Алексеевна разговаривала с Иваном, хотя смотрела на седого Серегу, надрывающего гармонь в безудержно-тоскливом веселье. Она вытирала рукавом взмокшие глаза и неожиданно торжественно объявляла:

– А сегодня Ванятке исполнилось восемьдесят.

Все молчали. Алексеевна наклонялась к жующему Ипату и говорила ему в самое ухо:

– Ванятке уже восемь десятков. В прошлом году семьдесят девять было.

Ипат вытирал губы маленькой непослушной ладошкой, но крошки все равно оставались на них.

– Мы ж с Иваном одногодки. Все уже поумерли из наших. Петр Гомырев на тракторе перевернулся. Зубов Кондрат утонул. Михея зарезали. Сколько людей сгинуло ни за что ни про что.

Алексеевна кивнула головой на слова Ипата и вдруг вспомнила:

– А Иван-то как пошел на войну, вернулся за карточкой. Я ж ему сказала: ну зачем ты возвращался, говорю, примета плохая, не скоро свидимся. А он мне говорит: «А мы с тобой, маманя, никогда не разстанемся». И я знала, что похоронку в мой дом никогда не принесут.

Алексеевна подошла к иконе Богородицы в углу с зажженной в этот день лампадой. Осторожно, чтобы не загасить огонек, достала из-за иконы сверточек в кружевном платочке, развернула его и вытащила пожелтевшей конверт. Стала читать письмо, хотя без очков не видела ни буквы, но она его знала наизусть:

«Здравствуй, маманя! Я тебя сегодня видел во сне. Мы сидели в нашем саду и пили чай из самовара. А потом я играл на гармошке. Вернусь – меха у нее подправлю: звук срывает. Я тебе столько всего порасскажу, и веселого, и печального. Я столько уже повидал, из деревни никогда же не выезжал. Может быть, если бы не война, так и не повидал бы белый свет. Ты же, маманя, так и пожила, никуда не выезжая. А фашисты мне кажутся просто заблудившимися бродягами. Я знаю точно: мы их прогоним со своей земли. И будем слушать в нашем доме, как играет наша гармонь».

На этих словах Алексеевна всегда замирает, и это знак того, что она мысленно продолжает разговаривать со своим сыном. Гостям уже здесь нечего делать. Незаметно исчезает Григорий. Тихо, уже не гремя костылями, уходит Серега.

Алексеевна глядит на замершего Ипата и обращается к нему тихо, да ведь он совсем ничего не слышит:

– Эх, Ванятка, опять я тебя сегодня во сне видела. Всегда на именины ты мне снишься. И всегда

такой веселый. И вот тебе восемь десятков уже.

Она загибает два пальца и показывает растопыренные ладони Ипату.

– Чего? – не понимает он. – Мне уже восемь десятков. И все топчу землю, а другие уже сгнили в ней. Я в роду нашем больше всех живу.

Алексеевна словно очнулась ото сна и, спохватившись, с обидой произносит:

– Пришел бы Ванятка – внуков его бы уже нянчила, правнуков. А то, мож, беззаглазные где-то бегают. И некому их петь и играть поучить.

– А мои никак не хотят учиться на гармошке играть, смеются. – Ипат что-то начинает бормотать про себя. Он не слушает Алексеевну, она не слушает его. Она молча складывает письмо в конверт, в платочек. Прячет письмо за икону. Все эти движения отработаны у нее, как в часовом механизме. А время отбивает секунды, минуты для того, чтобы Алексеевна каждый год встречала Иванов день. Для нее это закон, как восход и заход солнца.

Ипат незаметно для нее уходит, хотя долго слышны по дороге его тяжелые, с шарканьем шаги. Он тоже отработал зачем-то нужный ему долг.

Алексеевна, посидев немного, одна идет закрывать за гостями дверь. На улице она долго стоит, чуть придерживаясь за приоткрытую калитку, долго всматривается в сумрачную даль. Закрыв дверь, она возвращается, снимает праздничный наряд и прячет его в сундук, ложится в постель. Сегодня она устала, и ей нужно выспаться.

В доме все те же шорохи. Где-то скребется крыса, звякают рассохшиеся на диване пружины. Алексеевна и сквозь сон ловит эти звуки. Когда же почудятся ей чьи-то шаги, она приподнимает голову с подушки и настороженно провоцирует их затухание.